

Арина ОБУХ

Я ТУТ БЫЛ, Я ТУТ БУДУ ЕЩЕ ДОЛГО

Рассказ

1.

Я родилась в демографической яме.

Вылезла из ямы. В земле, грязи, глине, стяхнула пыль времен и...

Всем привет.

— Посмотрите на них: два изнеможенных хиппи и кустодиевский младенец, — приветствует Люся.

«Два изнеможенных хиппи» — это мои родители. Они не хиппи, но в моде свобода и клеш. Она — писатель, он — художник.

Хиппи смеются и говорят, что я умна, как породистая собака.

Породистая собака рядом — красивый дымчатый королевский пудель по имени Али.

Мы с Али всегда в стороне от пиршества. Острые закуски, пирожные и звон бокалов — это все не про нас.

Пудель деликатный, интеллигентный, с гордой посадкой головы. Похож на скульптуру — почти не двигался.

У него своя культура: не подбирать упавшую еду, не кланчить, не скулить, не вертеться. Он спокойно, с достоинством наблюдает за течением жизни. Ждет. И ест только по приглашению Люси, своей хозяйки.

Я веду себя примерно так же: сижу в прогулочной коляске, жду и ем то, что дают мне два изнеможенных хиппи. Мама и папа. Красивые люди.

Старая киноплёнка, 1997 год: мама похожа на иствикскую ведьму — ту, которая черненькая, из фильма. А Люся похожа на рыжую, Ира — на белую. Их волосы развеваются на ветру, бушуют — воздушная тревога, штормовое предупреждение. Жены художников.

Близ Маркизовой лужи всегда сильный ветер. Холодный, назойливый. Зато костер от него бесится и вздымается все выше.

Арина Обух родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Выпускница Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Член Союза российских писателей и Союза художников России. Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга, премии журнала «Знамя», Международного конкурса «Волошинский сентябрь» и др. Публикуется в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Юность». Автор книг «Выгуливание молодого вина», «Муха имени Штиглица». Книги и рассказы переведены на испанский, болгарский, турецкий, словацкий и китайский языки.

Взрослые говорят о чем-то. Мы с Али человеческих слов не понимаем. Только интонации различаем. Мир к нам добр, интонации ласковы.

Финский залив, пляж, песок, камни-валуны, ракушки... Али вольно бегают по просторам...

Обрыв пленки.

2.

Детство как рана: обветривалось, покрывалось корочкой, а мы сдирали ее – и детство не заживало.

3.

Нет мыслей, только скорость. Я бегу.

Просто бегу. И в какой-то момент даже начинаю взлетать.

Видимо, Земля ко мне еще не совсем привыкла и гравитация на меня пока не распространяется.

Мне пять лет. Я ошалевший воздушный шар. Сейчас улечу.

Но меня видят взрослые. Их взгляд заземляет. Теряю высоту.

Скольжу по асфальту. Колени плачут кровью. Друзья бегут на помощь и прикладывают к ранам дурацкие пыльные подорожники.

Дома на колени льют перекись водорода, и кровь шипит, красно-ярозная: она возмущена. Красивый цвет, хорошая краска.

...Потом будет все время больно.

Нет, колени, конечно, заживут, но... Исчезнет эта скорость, появятся земное притяжение и тяжелые мысли.

4.

– Давай жениться?

– А что такое «жениться»?

– Это поцеловать друг друга и улыбнуться.

Мир вокруг был – сплошная свадьба.

– Ой, – вздохнула она.

– Что с тобой?

– Влюблена.

– В кого?

– В друга моего.

– Как звать?

– Мама.

– Ой!

– Что с тобой?..

И так по кругу. Без конца. От Васильевского острова до дачи в Строганове. На соотом «ой!» у родителей уже нервный смех, но она уверена, что они просто счастливы. Это ведь лучшая игра на свете. Любовь.

Ей четыре года. Ее голос сотрясает стены больницы:

– У меня любовь! Я влюблена! Влюблена! Любовь!

Этот обход по палатам она совершала каждый день.

Все уже привыкли.

...А через некоторое время она стала водить за руку мальчика. Сначала по его лицу было видно: он не понимает, что происходит, но потом понял — любовь.

В конце концов он сам стал брать ее за руку, и они вместе ходили по коридорам больницы, заглядывали в чужие палаты и оповещали больных:

— У нас любовь!

Врачи и пациенты звали их «влюбленными».

Любовь заключалась в словах.

— Ты меня любишь?

— Да.

Ну вот и все. Поговорили. Теперь можно идти есть кашу.

Но потом наступил срок выписки. Она уходит из больницы, он остается. Врачи и родители замерли. Сейчас будут слезы. Двое прощаются навсегда.

Мальчик молчал. Смотрел. Герой немого кино. Сузил глаза. У него большие ресницы, они не пускали слезы на волю. Девочка подошла к нему и пожала руку.

— Ну пока.

Все.

Она села в машину, вернее, легла на заднее сиденье — и смотрела в окно. Крыши домов плыли по небу.

Родители приготовили утешительные слова, но те не понадобились.

Она ни разу его не вспомнила.

Мол, то была одна жизнь, а теперь другая.

5.

Люди вокруг меня рычали, мычали, пели, мыли раму, роняли в речку мяч и пытались мне объяснить, что все происходящее можно сложить из букв.

Каждый божий день я прячу «Азбуку» в угол, за телевизор. Там она и стоит, виновная во всех моих печалях.

— Так, ну давай. Обещаю: мы не будем ссориться. Дружно, весело... А где «Азбука»?!

— Не знаю.

Родители понимали, что «Азбука» — в углу; я никогда не прятала ее в другое место. Это был мой мирный протест: да, вы знаете, где эта книга, да, вы найдете ее, да, я против этого. Я против букв.

Еще несколько лет назад мир состоял из одних интонаций. «Азбука» была лишней. Есть чувства, есть слова — давайте говорить.

— Ей скоро в школу, а она не умеет читать!

Сию с раскрытой «Азбукой». Соленые волны из моих глаз размывают текст. Вижу только нечеткие силуэты гусей. Я думаю о гусях. Гуси говорят «га-га». А я читаю: «г», «а», «г», «а». Я не могу подружить буквы, они не соединяются. Гуси на картинке — могут, а я — нет. Каждая буква самодостаточна и живет отдельно.

Все нехорошее, что я думаю про «Азбуку», тоже состоит из букв. Мысли состоят из букв. Ужас.

Родители отдали психологу-логопеду последние деньги, чтобы она рассказала мне, что буква «Ё» — это инопланетянин: психолог подняла руки к голове (получились рога) и стала сжимать и разжимать пальцы, хищно, со страстью приговаривая «Ё! Ё!». А буква «Ә» — это отрыжка, когда наелся; и она продемонстрировала мне эту отрыж-

ку. Это были две самые эксцентричные буквы алфавита, но и к остальным тоже были приделаны какие-то эпатажные подробности.

Между буквами психолог выстраивала отношения. Буква «Д» пошла знакомиться с «О». Буква «В» превратилась в воробья, которого я нарисовала.

— Смотри, буква «Р» не поет, а с «А» — поет: Р-А-А-А...

Все это было очень хорошо, но я все-таки не читала.

Родители были в отчаянии.

Но однажды в гости пришла знакомая и, выслушав горестную историю про буквы, сказала:

— Я научилась читать в три года. Мой старший сын — в пять, а младший — в шесть. А сегодня мы все читаем одинаково.

Она была провидицей!

Мир усложнился. В нем теперь так много всего, что ты уже лишний. Но ты цепляешься за мир собственной памятью. Я тут был, я тут буду еще долго.

6.

Бабушка раскладывает пасьянс на погоду.

Дождя не будет. Значит, мы пойдем в Удельный парк.

Удельный парк — это машина времени.

Там старинные железные качели и ракеты-лазилки со времен СССР, они Гагарина видели, в космос провожали.

А у входа в парк всегда сидит одна и та же бабуля — продает семечки и орехи: сворачивает газетку, зачерпывает из ведра и протягивает страждущим.

Да это и не парк, а дремучий лес. Если повезет, то он выведет тебя к качелям. Нам всегда везло.

А в конце путешествия мы попадали на площадку-пустырь. Все дети носились по этой вольной пустоте совершенно счастливые. Перелетая с камня на камень, играли в пятнашки.

Я бежала к детям — и рассказывала, что приехала к ним из России, что я петербурженка. В руках я держала российский флаг. Я всегда отстаивала свое гражданство на этом пустыре.

Дети в недоумении бежали к своим родителям, рассказывали, что я из Петербурга — и спрашивали, откуда же тогда они. Потом возвращались и докладывали:

— Мы тоже из Петербурга!

— Нет-нет, это я из Петербурга! Я очень долго сюда ехала.

Дело в том, что на Черную речку (к бабушке) меня везли на машине. Машина рассекала линии-меридианы Васильевского острова, а я смотрела в окно и прощалась с Родиной.

— Но мы тоже из Петербурга, — не унимались чужеземцы.

— Вы тоже из Петербурга?!

Радость от встречи со своими на чужой земле переполняла меня.

— Так мы и сейчас в Петербурге!

— Да нет!.. Ну вы посмотрите вокруг, тут все другое!

— А где мы, по-твоему?

— Думаю, что в Москве.

Мои дорогие соотечественники озирались по сторонам и видели: повсюду Москва (я была убедительна).

А мы из Петербурга. Нам надо держаться вместе.

А ближе к вечеру на старой танцплощадке Удельного парка собирались люди черно-белого кино. Они танцевали, в середине их круга стоял гармонист. Гармонь набирала воздуха и...

«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...»

Моя бабушка Катя не танцевала, но смотрела – и одобряла: это о ней поют.

Это она выходила на высокий берег, на крутой, и это от нее надо было передать привет бойцу на дальнем пограничье.

А бойца этого звали Виталий.

Теперь его пост – это линия горизонта.

Жизнь Катюши и Виталия была сложнее, чем песня.

Но сейчас – это песня. Под нее танцуют люди черно-белого кино.

Уходя из Удельного парка, я сообщала всем, что возвращаюсь обратно, на Родину, в далекую Россию. И махала флажком.

– Я скоро к вам опять приеду!

– Приезжай скорее, петербурженка!

Мы с Катей покидаем машину времени, Удельный парк расстилает нам дорогу до дома.

7.

Сломанной балерине никто не верил.

Ну еще бы. Она же сумасшедшая. Все так считают.

Хотя эти «все» тоже с приветом, лежат в палате неврологического отделения вместе со сломанной балериной.

Ее, кстати, Вика зовут.

Палата, естественно, женская. Всем семьдесят плюс, а Вике, кажется, пятьдесят. Не знаю, была ли она когда-то балериной, но она точно была сломана: необыкновенно длинные балетные ноги не двигались. Когда сын брал Вику на руки, чтобы посадить в кресло, ее ноги болтались, как русалочий хвост. Но при этом во всем теле сохранялась грация. Более того, в ее неподвижности было некое величие, аристократизм. Словно не человек это лежит, а ваза. Или, скорее, статуэтка, балерина Императорского фарфорового завода.

Захожу в палату и слышу, как Вика беседует с пустотой:

– Лена, выключи чайник.

В палате нет ни Лены, ни чайника.

– Он сейчас взорвется. Мы все сейчас взорвемся.

Балерина не паникует, но говорит твердо:

– Все разнесет к чертовой матери...

Обреченная на неподвижность, она просто внимательно смотрит в пустоту, ожидая взрыва. Увидев эту покорность судьбе, я решила вмешаться. Вдруг правда все сейчас разнесет.

– Что случилось, Вика?

– Ты видишь кипящий чайник?

– Нет.

– Посмотри, там, на полу.

– Не вижу.

– А вот там, между девочками?

Смотрю между койками.

– Нет, ничего нету.

– То есть ты не видишь такой маленький электрический кипящий чайник?

– Не вижу.

– Он телесного цвета.

Пол тоже был телесного цвета, поэтому смотрю пристальнее.

– Нет.

– Ну и слава богу, – усталый взмах руки.

Смотрит в пустоту, не ожидая взрыва.

Через некоторое время она просит меня подойти ближе, присесть рядом. И очень серьезно, спокойно с легкой ироничной полуулыбкой говорит:

– Я понимаю. У нас больше нет доверия. Это все мираж.

Эти слова сломанной балерины остались со мной на всю жизнь. Не потому, что они были так важны или помогали понять что-то, нет. Скорее, даже наоборот. Они просто сохранились. Как сохраняются редкие виды листьев между страницами толстых книг.

Гербарий. Положишь лист. Забудешь. Потом откроешь книгу, а на тебя лист падает: здравствуй, помнишь меня? Помню. Было лето, страшное лето. Июль, август...

Рядом со сломанной балериной, на соседней койке, лежала Катя. Диагноз у Кати был необычный: «Удачный инсульт». И врач изо дня в день писал в карте о некой «положительной динамике», хотя с каждым днем Кате становилось все хуже. Ее покидала речь, поэтому сломанная балерина всегда подробно докладывала мне, как Катя себя вела, что пила, что ела.

А однажды Вика закричала дурным голосом:

– Вы посмотрите, что она делает! Она фоткает мертвого человека! Это аморально! Она прячет фотик! Вон он! Под кроватью!

Палата смотрела на Вику с интересом. словно она им кино пересказывает. Но случались у балерины и приступы доброты, когда она делилась фруктами, конфетами, воспоминаниями:

– Девочки, я тут вспомнила: еду в метро и смеюсь. На весь вагон. Все оборачиваются на меня, думают я сумасшедшая...

Все девочки осторожно переглянулись между собой, мол, да, сумасшедшая.

– А я просто в телефоне Филатова смотрела «Про Федота-стрельца», ну и как не смеяться, когда смешно, девочки?!

Но в какой-то момент сломанная балерина исчезла, растворилась: сын взял ее на руки, мелькнул русалочий хвост, «до свидания, девочки!».

Слова у Кати совсем уже не получались, поэтому она просто помахала ей вслед: пока, Вика!..

8.

– Мы все понимаем, – скажет главврач. – Для вас это эксклюзив, эксклюзивная история, а для нас это будни, каждый день...

Это и правда было каждый день. Нас перевели в палату «для улетающих».

Смерть — это когда больничная кровать пуста и аккуратно застелена.

...Кати четыре года как нет. А мы все идем и идем с ней по Удельному парку...